

Вячеслав Яковлевич Шишков

ТАЙГА

I

И тогда небеса с шумом прейдут, в стихии же, сжигаемы, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят... Но мы нового небеси и новой земли чаем, где правда живет.

Второе послание ап. Петра, гл. III, ст. 10 и 13

Кедровка — деревня таежная. Все в ней было по-своему, по-таежному. И своя правда была — особая, и свои грехи — особые, и люди в ней были другие. Не было в ней простору: кругом лес, тайга со всех сторон нахлынула, замкнула свет, лишь маленький клочок неба оставила.

Деревня — домов тридцать, а кладбище за поскотиной большое, хватило бы на добрый городок.

Когда она появилась на божий свет, — никто путем не знал. Только дедка Назар, вот уже второй

век коротавший, сидя на печи, говаривал, еле ворочая непослушным языком:

— Еще когда Петр царем служил, наша деревня-то народилась. Дедушка мой Изот Кедров, покойна головушка, с каторги быдто бы бежал да сел тут. Так и пошло, благословясь, от нашего кореню.

Земли в Кедровке было немного: кой-где по увалам и падым, вдоль речки, да там, на той горе, что приподнялась желтой лысиной над тайгою. Впрочем, мужик и не дорожил землей: ему тайга давала всё — и белку, и соболя, и медведя, и орех. Но за последнее время стал падать зверовой промысел, вздорожал хлеб — и тогда топор загулял по тайге, глубоко врезаясь в ее недра.

Затрещала тайга, заухала, в спор вступила с человеком: насылала медведей на его жилище, пугала лешими. Но устоял человек, все перенес, а тайгу все-таки покорил. И там, где к небу вздымались вековые деревья, теперь зелеными коврами легли веселые нивы.

Деревня жила день за днем, год за годом. Проходили десятки лет.

Старики просили тихой смерти, безропотно умирали, крепко надеясь, что вот там, за могилой, начнется что-то хорошее и светлое, то самое, о чем так болело сердце, скучала душа.

Старики любили друг другу жаловаться на

сыновей и внуков, что отбились от рук, совсем из отцовской воли ушли, никого знать не хотят — ни бога, ни черта.

— Мы за богом-то эва как следим, — корили они молодежь, — а вы что?.. Эх вы, окаянные!..

Но и старики и старухи за богом следили плохо. Да как же: вот какая свара идет между народом, друг другу рады горло перегрызть. А из-за чего, спрашивается, — путем никто уяснить не может.

У солдатки Афимьи телка сдохла — рады. Петруха Тетерев с вина сгорел, Акулину оставил саму четвертую — рады. У Якова мальчонка кашей подавился, помер — рады. Жена Обабка, баба беднеющая, тройню родила — рады! И всегда так случалось, что сначала как будто жалость падет на сердце, словно кто свечку зажег и осветил душу, тепло так, приятно, а потом, — подошел черт с черной харей, дунул на эту свечечку и притоптал копытом. Вдруг становилось темно в душе, вдруг начинало ползать в ней что-то холодное и подмывающее, и тогда про жену Обабка говорили, зло пыхтя и ворочая глазами: «Так ей, суке, и надо». Но почему работающая жена пропойцы Обабка — сука, какое она кому зло сделала, — разве не больно, разве не обидно ей? Никто такого вопроса себе не задавал, каждому казалось, что эта тихая Обабкина жена действительно всем надоела и

всех обидела, действительно виновата, что все, сколько есть в деревне народу, из-за нее, суки, так плохо живут, впроголодь живут, неумытые и темные, донельзя забитые нуждой, озверелые люди, всеми забытые и брошенные, как слепые под забор котята.

Так каждый ко всем относился, все к каждому.

А вот Ивану Безродному прошлой зимой шесть лисиц в кулемки попали, а нонче у Петрухи Зуева рожь хорошая вымахала: у иных градом прибило, у него стена стеной. Этих ненавидеть стали, «черт помогает», говорили. Вдовуха Лукерья лавчонку открыла и богатеть начала — гумно спалили: «не смей». Дядя Изот пьянствовать бросил: «Врешь, старик, на небо полез?..» — засмеяли мужика, проходу не давали, пить стал пуще, с вина сгорел.

Кедровцы не любили, чтоб кто-либо выделялся из них: «Лучше других захотел? Нет, стой, осади назад».

Так и жили в равненье и злобствовании, в зависти и злорадстве, жили тупой жизнью зверей, без размышления и протеста, без понятия о добре и зле, без дороги, без мудрствований, попросту, — жили, чтоб есть, пить, пьянствовать, рожать детей, гореть с вина, морозить себе, по пьяному делу, руки и ноги, вышибать друг другу зубы, мириться и плакать, голодать и ругаться, рассказывать про

попов и духовных скверные побасенки и ходить к ним на исповедь, бояться встретиться с попом и тащить его на полосу, чтоб бог дал дождя.

Мужья били жен молча и стиснув зубы. Били, не находя никакой вины за бабой, а так просто, со злобы, вымещая на ней сердце за свою никчемную жизнь. А потом жалели их, целовались и плакали вместе, но проходил день, проходила неделя — и опять повторялись драки, и опять слышался рев то в одной, то в другой избе. Когда мужики отправлялись в тайгу, на промысел, бабы иной раз заводили шашни с оставшейся молодежью, с кем попало — с прохожим молодым бродягой, с попом-кутилой, с политическим ссыльным. И не всегда ради разврата, и иной раз по озорству, из желания отомстить мужу, сделать ему больно.

Стешка, любясь с пастухом Сидоркой, отлично знает, что кумушки все, с прикрасой, разболтают мужу, накажут то, чего и не было, — отлично все это знает и нарочно, может только потому и делает так, что вот взбесится муж, будет тиранить ее, упрекать, изгаляться, а она, вся избитая, выбежит на середину улицы и заорет на весь белый свет: «Уйду, жиган, уйду, пропойца, к Петровану-слесарю, царскому преступнику, уйду!»

Детей рожали без боли и приготовлений, где придется: в лесу и в поле — все равно. Детей у всех было помногу: «Вали, Мавруха, ни-и-чего, хуже не

будет».

Жизнь деревни Кедровки — испокон веку так завелось — кололась всегда надвое: то черная полоса, то светлая.

Уродится хлеб, удастся пушной промысел — светло на душе, отратно. Ходят веселые и довольные, заломив набекрень шапку, разрядившись в сарафан поярче и со скрипами полусапожки. О нужде забыли: ведь вот только что была, еле убралась со двора, еще след не простыл за воротами, но ее не помнят и начинают жить так, как будто заказали ей все пути к возврату. Сладко принимались есть, фамильным чаем обзаводились, одежду справляли, — какую надо и какую не надо, — так, для форсу, гармошки двухрядные покупали, а наипаче предавались пьянству. Пили все, не исключая малых ребяток, едва отвыкших от соски.

Лица у всех становились веселыми, ясными и приветливыми, злоба на душе таяла, обиды предавались забвению, прежние враги мирились за бутылкой водки, лезли друг к другу целоваться и, плача пьяными слезами, клялись быть «побратимами» до гроба, а в подтверждение слов выползали на улицу и брали в рот землю.

Проходит год, идет другой. Мужики еще с весны начинают примечать, что белки нынче не жди. Это плохо. «Черт с лешим в карты, знать,

играли, и леший проиграл всю белку». Зато хлеба будут хороши, вон какие вымахали, любо!

Но вдруг среди лета внезапно падал страшный гость — ранний иней, за ним другой. И все гибло.

Наступала тогда черная полоса жизни.

Эта полоса была живучая, годом не кончалась: жди два, а то и три года: «С ним, с богом-то, драться не полезешь».

Тогда постепенно, исподволь, как день сменяется вечером, снова наплывало на деревню зло. Со всех сторон, из болот и падей, вместе с туманом, неслышно, по-змеиному заползало оно в избы, туманило всем головы, разъедало сердца и рычащим бешеным псом ложилось у порогов.

По деревне, от двора к двору, натягивались тогда какие-то невидимые дьявольские нити. Кто их плел? Конечно, враг человеческий. В воздухе припахивало недобрым, и все становилось унылым и мрачным. Не услышишь больше светлого смеха: засмеются — зло горохом рассыплется; не услышишь и разухабистой вольной песни: запоют — словно кого хоронят; не звенит ласковый голос девушки: «Ах ты, Ваньша, карий глазок», — слышится вздох молодой, тронутой горем, груди.

Лица становятся хмурыми, глаза голодными и завидующими, рот жадным, руки неудержными, в сердце нарастает боль. Хочется кого-нибудь укусить, уколоть, урвать, выругать, сжить со свету.

А иной раз хочется — и откуда прилетит вдруг хотенье! — встать посереде улицы и каждому сказать: «Ребятюшки, а ну, пойдём, а ну, наляжем — не подастся ли?» Куда пойдём, на что наляжем — кто его знает. «Ребятюшки, ворочай все сверху донизу!» Пожалуй, надрывай глотку. Тайга обратно вернет крик и захохочет.

Вот Спирька-солдат из Питера пришел, домой вернулся, — Спиридон Павлыч Иконников. Всем насказал разных небылиц: и какие города бывают, и какие там люди, и какой свет по ночам пускают... Мало ли он рассказывал!

Потом ушел, окаянный, не захотел остаться дома: «Нешто можно здесь жить... Что я — зверь, что ли?» Побохвалился-побохвалился — да ушел-таки... Слоняется где-нибудь, легкой жизни, сукин сын, ищет... Лодырь.

И так и этак ругали солдата Спирьку, что взманил, что указал перстом в небо, туда, где зори плавают, где все не так, все не по-здешнему, но в душе любили часто вспоминать его речи и втихомолку вздыхали.

II

Назимово — большое стародавнее таежное село.

Недалеко от Кедровки, и сотни верст нет, —

это не расстояние, — но жизнь там попрямней. В Назимове и «царские преступники» — политики — жили, и книжка по рукам ходила, и грамоте кой-кто из парней кумекал: школа была.

Там церковь каменная, колокол большущий, как бухнет-бухнет — долго гул идет, есть священник, купцы, да и от проезжей дороги недалеко. А проезжая дорога прямехонько упирается в уездный городишко, семьсот столбленных верст до города.

Однако греха и всяких поганых дел было много и в Назимове.

Торговый человек, Иван Степанович Бородулин, жил в двухэтажном доме с палисадником. Дом его по селу первый. Сам Бородулин мужик в соку, с большой черной бородищей, румяный, волосы в скобку, зубы белые, бабы его любят.

Со всеми ими помаленьку баловался Бородулин и, гордясь этим, говорил: «До женских я охоч». Пуще же всех нравилась ему солдатка Дарья, с которой он открыто жил.

Но гладкая солдатка Дарья жила в то же время с уголовным поселенцем Феденькой, а жена вора Феденьки, местная крестьянка, жила с кузнецом Афоней, а жена Афони жила с тремя назимовскими парнями и с «женатиком» Лапшой, жена же Лапши, ловкая баба Секлетьня, путалась с вдовым попом.

Поп, не довольствуясь бабой Секлетиньей, своей стряпкой, увлекался семипудовой купчихой Бородулиной, уехавшей в город лечить зоб.

Так оно колесом и шло.

Иван Степаныч Бородулин — купец не промах: всю округу в кулаке зажал.

Кедровский староста Пров уж на что мужик самосильный, а тоже в долгу у Бородулина: колдуны шишиг таежных на Кедровку напустили, без малого весь скот у мужиков от поветрия чезнул — довелось с поклоном к купцу идти.

Долго кряхтел Пров: жалко Анну, единую дочь, в люди отпускать, а надо. Убрались с полем, отправил Анну к Бородулину в работницы: хоть часть долга с плеч — и то дело. Матрена больно горевала, перед разлукой на дочку наглядывалась. Мудрено ли? Анна по деревне первая, да не по деревне: поди, нет ее краше да умнее по всей тайге, во всем русском царстве, — и в кого такая задалась?

Только вот Анну тоска грызет. Так как-то, скучно... нехватка в чем-то... Исподтиха-исподтиха, да как вцепится, словно лукавый пес... Точно не здешняя, не таежная, точно в хрустальном ключе родилась, что бежит из тайги да в речку, из речки в море, через весь белый свет, — скучно Анне. Сама не знает отчего, а скучно... От жизни, что ли? Жизнь ли это? Стало

быть, жизнь...

— В досюльное время, сказывают, лучше было, а теперь погляди кругом: тошнехонько, — сама с собой печаловалась Анна. — Люди не люди, выползут, мохнатые, потычутся носом, что положено, помытарятся да трухлявыми колодами хлоп в землю. А из тайги опять прут новые... Так и катятся: из тайги да на погост, под крестик. Вот и жизнь.

Особенно грустила Анна осенью, когда собирались к отлету птицы. С болючим горем отрывала от сердца крик:

— Журыньки, возьмите мою душеньку... да унесите...

И не с кем словом золотым перемолвиться, розмыслом раскинуть. С Устином разве? Нет, Устин — старик, о божественном думает: ему тайга мила. С Кешкой? Темная душа, беззвездная. С родителем? У него сердце мозолистое: работай, ворочай за двоих, а дальше — тпру... Вот с Мошной, однако... Мошна старуха дошлая: много знает сказок, присказьев, побасок. При трескучей лучине занятно ее послушать: руками куделю прядешь, а душа над тайгой трепыхает...

В разлуке с Кедровкой Анна не жила, а пришла в Назимово — тоска пуще. И быть бы, пожалуй, худу, но встретила Андрея — и все перевернулось.

Как-то Бородулин потрепал ее по круглому плечу.

— Иди-ка, Анка, слетай к Андрею-политику, — знаешь? Чтоб диван пришел обить...

Вернулась Анна в радости.

— Ну? — хлопая на счетах, спросил Иван Степаныч.

— Придет, — и она чуть улыбнулась углами губ.

С того и началось. Впервые повстречала Анна такого человека. Шутка ли: учитель, ребят учил... Да и собой больно пригож... Что-то такое в лице, в глазах есть... этакое... едва оторвалась... Когда пришел Андрей, сама не своя: чуть самовар без воды не поставила, накрывала чай — стакан разбила, а помогала Андрею гвозди заколачивать — руки ходуном.

Андрей не меньше Анны, второй уж год, скучал в тайге. Он тосковал о широких донских степях, где родился и вырос, о деле, которому служил, о тех чумазных малышах, что с плачем бежали через всю станицу, когда увозили его в город усатые жандармы.

— Здорово, Андрей, — как-то заглянула к нему Анна.

Тот поднял голову, откинул свисавший на лоб чуб, прищурил живые, зоркие глаза.

— А-а-а... знакомая... — радостно протянул он. — Ну, здравствуй, соколица. С чем пришла?

— Уж ты не обессуди, — и Анна смущенно улыбнулась. — Скучаю я здесь, Андреюшка... Однако домой удеру... напиши писульку родителю, — кажись, десятский едет в Кедровку... Скушно...

Анна облокотилась на верстак, опустила голову.

— Скучно, говоришь? Да, Анна, невесело... Ну, давай напишем...

Он писал, она с любопытством разглядывала его грустное молодое лицо с высоким лбом, большими черными глазами. Брови у него густы, усы — чуть-чуть, в плечах широк, а руки девичьи.

— Ты, видать, из благородных... Ишь какой... пригожий.

С той поры часто урывалась она к Андрею: «Чевой-то потянуло к тебе».

— А грамоте хочешь знать? — как-то спросил он.

Даже руками всплеснула, а глаза сразу налились слезами, как цветы росой:

— Андрей, Андреюшка... голубчик...

День за днем катились. Крепкие морозы пришли. По-иному себя Анна чувствует: не видит Андрея день — скука завладевает, а придет к нему — уходить не хочется, так до петухов и сидит.

Достанет Андрей книгу, сядут поближе к печке, да и коротают ночь: зимой в избе холодно, как закрутит буран, в углу снегу набьется, хоть лопатой гребни. О людях Андрей читает, чужестранных царствах, о небе, о солнце.

— Ты почитай о правде.

О правде Андрей читает. Хорошо слушать: вливается в душу светлое, новое; тайга уплывает, и Анна уж над нею, словно на высокой горе. Хорош, должно быть, мир. Андрей по-особому читает, дойдет до места, остановится и много-много говорит, голос ласковый, речь складная, с простого начинается, а сведет на такое, что дух замрет.

— Да как же так, Андрей? Неужто верно? — поднимает Анна крутые брови.

— Верно. Только у вас, у мужиков, глаза завязаны.

Как-то вечером Анна сидела у Андрея. Она шила рубаху, негромко напевала проголосную:

Уж ты гой еси, да ты
светел месяц,
Хоть светло ты
светишь,
Да не
по-прежнему...

Андрей крупными шагами ходил из угла в

угол.

Ой, потекаешь ты,
Как ворам, плутам,
разбойникам...

— Анна, — остановился Андрей и взял ее за руку. — Хорошо ты, Анна, поешь. У тебя столько слез в голосе... грусть...

Девушка перегрызла нитку, отложила шитье и сказала:

— Батюшка с матушкой лучше поют. Бывало, выпьют о празднике, сядут друг против дружки, подшибутся, да и... Ну, непременно заплачешь.

— О чем же? — поглаживая ее голову, спросил Андрей.

— Да и сама не знаю... Тяжело делается... Быдто кто покличет куда...

— Ну-ну... — сказал Андрей и опустился возле Анны.

Та глядела перед собой, что-то вспоминала, к чему-то прислушивалась.

— Али вот ночью... Не заспится иным разом, — ну, хоть зарежь. А батюшка с матушкой похрапывают. Выйду на речку, да и сяду у воды... Ночи летом светлые, а птицы в черемошнике, почитай, наскрозь поют... Сидишь и думаешь... Эх, думаешь, была бы богатырем, сгребла бы

огромный топорище, да ну тайгу пластать... Вывела бы дороженьку прямехонько на белый свет...

Андрей поднял с полу стамеску, переставил с окна на пол примерзший пузырек с политурой. Анна подбросила в железную печку дров.

— Андреюшка, слушай-ка... Чевой-то сказать хотела. Да, вот чего... Не славно как-то... жизнь-то... Живешь, а словно бы не живешь, а так как-то...

Андрей откинул чуб и зашагал.

— Жизнь... Какая же это жизнь?.. — размахивая руками, говорил он. — Жрут, спят, дерутся, убивают... Дикое нечто, звериное...

— Ох, голубчик... Хуже зверья... Ты побывай-ка у нас в Кедровке... Жуть...

Андрей одернул черную суконную рубаху, подошел к верстаку и стал стругать.

— Уж больно плохо: бедность, руготня, убийство...

Анна сидела, склонив над шитьем голову.

— Эн Федот у нас, лавочник, — тихо говорила Анна, — обобрал как-то двух тунгусов, а чтоб концов не видно, дал им спирту гольного бутылки три в дорогу-то. Ну, напились в тайге, а мороз был страшительный — замерзли. А наши мужики — чего им, нешто жалко!.. За два ведра Федот всю деревню купил: ни гу-гу.

Свежая стружка под сильной рукой Андрея с визгом отделялась от бруса и желтыми кудряшками ложилась у ног. Пахло смолой.

— А то парни девкам помощь устраивают. Слыхал, поди?

— Да, обычай страшный. Изуверство. Грязь.

Андрей положил фуганок. На его лице отразилась боль. Он полузакрыв глаза и, покачиваясь, слушал Анну.

— Молвить-то стыдобушка, скверность... Чуть не угодила девка — умянут обманом за деревню да всем табуном... Тьфу!.. Срамота одна... Господи Христе... Да ить с парнями-то ребятенки, мотри, лезут да женатики... А то старичишка какой ульнет... Орет девка, быдто жилы тянут... Одну замучили: умом помутилась да с сопки в речку. А вся и провинка-то, что за безносика замуж не пошла...

Анна оторвалась от работы и уставилась в стену, словно в столбняке. Андрей, заложив руки назад, крупно шагал из угла в угол и что-то говорил Анне, но та думала свое.

Потрескивало и ворчало в печке пламя, а с улицы доносились крики и руготня: должно быть, зачиналась поножовщина.

— А ты, Андреюшка, долго ли здесь проживешь-то?

— Не знаю... Может быть, всю жизнь, —

упавшим голосом сказал Андрей.

Он подошел к низенькому оконцу и, согнувшись, уставился на мутную, в лунном свете, всю засыпанную снегом улицу.

— Проводи-ка... Пойду не то... — вздохнула Анна.

— Сиди...

Он опустил голову возле и задумался. Анна прижалась к нему, заглядывая в глаза. В них была печаль, ей показалось даже — слезы.

— Душно, Анна, скверно... Что-нибудь делать надо такое... ну, чтоб посветлей было. Жизнь налаживать надо, Анна...

Голос его срывался.

— Охо-хо... Легко молвить, а ну-ка, приступись...

— А если ничего не выйдет, убегу... — Андрей быстро сорвался и зашагал по комнате, крепко сомкнув кисти рук. — Убегу куда глаза глядят... В Америку!.. К черту!.. К дьяволу!..

— Андреюшка, и я с тобой...

— И ты?! — Он поймал ее протянутые руки и, весь загоревшись радостью, поднял ее с лавки.

— Я в согласье, — шептала Анна, вся дрожа. Потом, словно что вспомнив, удивленно вскинула брови. — Постой, Андрей... А здесь-то как же? Ведь сам же говоришь: темень, скверность... Зачем же убегать? А ты здесь свети. Хошь сколько

посветишь, и то добро... Хошь лучиночкой немудрящей...

Андрей улыбнулся:

— Когда встанет солнце, по всей земле светло... без лучинки... сразу. А солнце там, Анна, за тайгой...

— Родной мой... желанный... Ты сам вот и есть солнышко-то.

Проводив Анну, Андрей до утра не спал. Он вынул карту и долго ее рассматривал. Да, конечно, можно... К весне он с Анной доберется до Лены... Следы запутать просто: будто муж с женой на золотые прииски пробираются. А по Лене пароходом... Ну, убегут... А что же дальше? Нет, одному надо... одному...

— Мечта... — роняет Андрей, и его губы складываются в ядовитую усмешку. — Мечта! — швыряет он карту на пол и ходит взад-вперед до изнеможения.

В Андрее с каждым днем росло нечто новое: то его манила тайга своим загадочным шумом, простая жизнь вместе с Анной и упорная борьба с таежной тьмой; то воля вставала перед ним, и сердце рвалось ей навстречу. Воля... красивое это слово... Что ж? Вить гнездо в тайге или подняться вместе с лебедями и лететь за моря?

Но вот как-то в праздник утром пришла к нему Анна. Бледная, растерянная. Не

поздоровавшись, опустилась на скамью. Андрей возился над чучелом летяги-белки.

— Что с тобой?

Та не ответила, только вздохнула.

— Не Бородулин ли обидел?

Анна сидела потупившись.

— Да ты что? — шагнул к ней Андрей и взял ее дрожавшие холодные руки.

— Андреюшка... соколики... затяжелела... — прошептала Анна, закрывая лицо.

— Ну вот... так-так... — тянул Андрей, собираясь с мыслями и чувствуя, как перевернулось его сердце. — Вот и отлично... хорошо. Очень хорошо... Ну...

Анна ушла радостная. Не шла, а бежала. Яркое светило солнце. Снег слепил глаза. Была капель.

Андрей готовил товарищу длинное письмо:

«Дружище. Теперь все ясно: я остаюсь в тайге. Надолго ли — покажет жизнь, но кажется — надолго... Буду посылать разгонять таежную жуть... Ты улыбнешься? Мелко, скажешь? Ну, что ж... Такова планида, как говорит здесь один купец-хват... Но вот в чем дело. Помнишь, я как-то писал тебе о своей подруге. Я с первого же знакомства привязался к ней, и чем дальше, тем крепче... И она для меня здесь, в тайге, — все. А сегодня она мне сказала...»

У Андрея шумело в голове, строчки прыгали.

Он обмакнул перо и перечел написанное.

— Нет, не так... не то... К чему? Надо по-другому, — и разорвал письмо.

Пришла весна. Тайга закурила, заколыхала свои камильницы, загудела обрадованным шумом и, простирая руки, глянула ввысь, навстречу солнцу, зелеными глазами.

Андрей любит уйти весной в тайгу на неделю, на две, чтобы упиться вволю весенним хвойным запахом после долгого восьмимесячного сидения в четырех стенах.

По ночам, когда не было Анны, он выходил на улицу и, весь насторожившись, вслушивался в гусиный внятный говор:

— Га-га... Гагага... Га-га... Гагага...

Высоко, меж тайгой и тихим звездным небом, стая за стаяй, вольной лавиной мчались на север гуси.

Андрей чувал, как все в нем закипает буйной радостью. Он жадно шарил глазами по небу, но, кроме мерцавших из голубого мрака звезд, ничего не видел.

— Надо идти...

И вскоре, в весенний вечер, Андрей горячо обнял Анну:

— Я в тайгу уйду, Анночка... теперь хорошо там.

— Чего тебе тайга?

— Тебе не понять, Анночка... Я люблю тайгу... Я скоро вернусь.

Утро настало. Взял Андрей с собой припасы, вскинул на плечо ружье, простился и бодро зашагал вдоль села.

— Не заблудись смотри... Прощай... Проща-а-ай!..

III

Лишь загудит весной тайга, бродяги надевают заплатанную торбу, берут жестяной котелок, суют за голенище отточенный нож и выползают на божий свет из черных бань, брошенных избышек, зимовьев, обросшие волосами, шершавые и почерневшие от копоти за долгую северную зиму. Выпрямляют согнутые спины, щурятся на солнце, ищут в синеве небес белый лебединый бисер, прислушиваются к хлопотливому крику плывущих с юга птиц и, покорные зову тайги, рассыпаются по ее звериным тропам.

Солнце еще не закатилось, но скоро спрячется за хребтом: вот дрожат последние лучи его на макушках деревьев. Еще немного — скользнут мимо, в сереющий вечерний простор, и растают. Тихо внизу, а там, над тайгой, ветерок погуливает, шелестит хвоей, вздорит.

— Тюля, кроши чай-то, — октавой сказал

плечистый лысый старик, по прозвищу Лехман.

— Есть, — отрубил Тюля, лет тридцати парень, с простоватым круглым, толстогубым лицом, и, крикнув, завозился у мешка.

Лехман — старичина дюжий, бородища изжелта-седая, огромная, прядями свалаялась, нос с горбиной, взгляд угрюмый, брови густые, хмурые. А встанет, сутулый, да как гайкнет, — ох и рост же у деда, ох и голос — труба трубой... Лехман и есть, весь зарос мохом, по всем статьям лесовик.

Двое других, Антон да Иван, чинили амуницию.

Иван, или, как его за веселый нрав зовут, Ванька Свистопляс, садит на какую-то бабью кофту заплаты и приговаривает:

— Вот это мундер — так мундер... — и гогочет селезнем, встряхивая кудластой, как капустный кочан, головой.

Антон весь потный, худой, бородка с проседью черная, метелочкой, щеки впалые и большие, задумчивые, в темных кругах глаза.

— Так-то, миленький, — говорит Антон, — это господь нас натолкнул друг на дружку... — и черпает берестяной ложечкой из деревянной чашки сухари.

— Господь... Как не господь... — гудит Лехман. — У тебя все господь. Встретились, да и вся недолга.

Ванька Свистопляс, досыта наевшись, пошел рубить сухую листвень: темнеть начало, а костер погасал.

Тюля лег на спину, помурлыкал себе под нос, потом вскочил и скрылся в лесу, весело свистя и потрескивая сучьями.

Сумрак надвигался со всех сторон, а вместе с ним пришел холод. Набросали в костер смолевых пней. Языки огня полизали пни — вкусно ли — и, отведав, сразу охватили пламенем, затрещали, заискрились, распространяя жар и свет.

Антон лежал, подставив теплу спину, и говорил, глядя перед собою сонными глазами:

— Вот, миленький, бог его ведает, доплетусь ли до родины.

— Дальний?..

— Из Воронежа. Есть такой хороший город Воронеж, родина моя.

Вдали стучал топор, и слышно было, как с шумом грохнуло наземь подрубленное Ванькой дерево.

Антон сел поближе к огню. Печальное восковое лицо его блестело от испарины, будто начинало подтаивать и оплывать в лучах костра.

— Я ведь, старинушка, не простой... Я ведь духовного звания: сельского псаломщика сын, — начал он монотонным, глухим голосом. — Из семинарии меня, значит, выгнали: так, без

прилежания учился, да и спиртным напиткам подвержен был. Отец же мой многосемейный, жизнь влачил бедную, даже на глаза меня не принял, и стал я с тех пор сам по себе. Ну что ж, думаю, надо как ни то... По писарской части у меня ничего не вышло, да и не по душе... Тянуло меня в поля, в леса, чтобы по дорогам, по большакам ходить, монастыри старинные осматривать... Любил я, грешным делом, все это. И уж подумывал в монахи пойти: есть такие монастыри удивительные — вон Сарова пустынь, ах ты богородица: леса, речки — прямо рай. Влекло меня к божеству, шибко влекло. Но все вышло на другой лад. Стал я, дедушка, маляром, а потом присмотрелся у монахов, да и живописцем заделался, потянуло меня опять на Русь, по селам бродить начал. — Антон качнул головой, причмокнул, повел острыми плечами и вздохнул. — Подружился я как-то в селе пригородном с поповской дочкой... Ну, конечно, весна, соловьи, благоухания... А сам в то время франт был: часы, куртка бархатная, шляпа и тому подобное. Словом, чтобы грех прикрыть, окрутил нас отец Никифор... Зажил я тут, можно сказать, во всем благополучии: жена — красоты замечательной, пиши с нее картину: работы сколько хочешь — из других уездов присылали. Хар-рашо с Наташенькой жили. Так бы оно и катилось чередом, да грех вышел,

люди меня за простоту растоптали...

— Человек на это горазд, — сказал Лехман.

Сквозь чащу продирался Ванька Свистопляс, волоча по земле сухие сучья.

— Пять лет жития моего сладкого было. А тут и... Подновлял я храм в одном селе. Благолепный храм, помещиками в старину приукрашен был изрядно. Ну вот. А в селе как раз ярмарка. Народищу навалило густо. Ну, сначала хорошо шло: подгрунтовал я, значит, праотцев в верхнем ярусе, а пока сохнут — евангелистов начал освежать. В церкви и жил, в закоулочке: приду, значит, вечером, побродивши по базару, меня на ночь и запрут, а чуть зорька — я уж за работу... И вот, милый, тут-то меня жизнь и ущемила...

— Запил, что ли? — спросил Лехман.

— Грешный человек, запил... Какой-то вроде актера, бритый, возле меня все юлил... С ним, значит, и того... Нашли меня на вторые сутки... «Как же тебе, Антон Иванович, не совестно! — крикнул на меня староста церковный. — И деньги все пропил?» — «Извините, говорю, пропил». А я действительно при начале двести целковых на позолоту да на краски взял. Староста размахнулся да раз меня в ухо! Горько мне сделалось, заплакал я... от стыда больше, потому — все меня уважали. А всему виной бритый: выманил у меня, у пьяненького, денежки-то, да и лататы... Он, подлец,

и в церковь ко мне захаживал, все иконами интересовался, знаток — это верно... Ну, ладно... Положили меня, значит, на вытрезвление к просвирне, а за женой подводу отправили, потому знали, что я жену, как бога, чтил.

Антон помигал глазами, снял картузишко без козырька и вытер рукавом потный, с запавшими висками лоб.

— И вдруг ночью ввалился ко мне народ, руки скрутили да в волость. Вот так раз. Ничего понять не могу, потом дорогой слышу: церковь ограбили, венчик в камнях с иконы сняли, крест напрестольный, чашу с дарами и кружку вытрясли. Ловко. Я аж обмер. Даю отпор — знать не знаю. Обыск. Как тряхнули мою жилетку, а оттуда два пятака старинных екатерининских да медаль серебряная. «Ну, так и есть! — староста кричит. — Она самая, моя медаль... Вот и зарубинки. Самолично в кружку опустил!» Тут мне и погибель...

— Ха! — хакнул Лехман. — Это бритый.

— Неужто я?.. Стал бы я на господний храм руку подымать... Не тот человек я... а так, попал в сеть, как перепелка... А вступиться некому: брат старший в духовную академию обучаться поехал, родитель помер, отец Никифор помер... Так меня и закатали...

— А как же бритый-то? — враз спросили

Лехман с Ванькой. — Чего ж ты его-то не упекарчил?..

— Где уж... Вишь, я какой?.. — развел Антон руками и как-то вкось ухмыльнулся. — Смирный я, нерасторопный... Всего меня придавило. Накатилось какое-то такое... ну, вроде как... Словом сказать — махнул на все рукой: так, видно, на роду написано...

Антон, тускло посматривая в сторону и думая о чем-то другом, рассеянно сказал:

— Объяснял я про бритого, как же... Ищи ветра в поле... будто в воду... А у меня — медаль...

Лехман и Ванька Свистопляс внимательно слушали. Голос Антона дрожал, впалые щеки разгорелись. Он тонкими пальцами, волнуясь, потеревливал бороденку и почмыкивал утиным, с защипкой на конце, носом.

— Как попал я в Сибирь, стал пить. Прямо пьяницей горьким сделался. Через это все здоровье потерял. До белой горячки, милые, допивался, по воздуху в избе летал. Вот быдто взовьюсь вверх, с избой вместе, да и ну порхать.

Свистопляс рассыпался горошком и провел ладонью снизу вверх по курносому своему бабьему лицу.

— Это бывает! — весело крикнул он и подбоченился. — Я тоже так-то пивал, дык меня черти в ад спускали по трубе... Женить на жабе, так

твою так, хотели да выгнали.

— И вот, милые, — вновь заговорил Антон, — так и жил я в нужде да лишении одиннадцать годиков. И так меня потянуло в родное место, что выразить вам не могу. Жена с дочкой сниться начали, голос подавали. Вот так сидишь в тайге, у речки, ночью, вдруг: «Анто-о-ша...» Вскочишь, перекрестишься, и только забудешься — опять: «Анто-о-ша...»

Антон вздрогнул и перекрестился.

— Не вытерпел, собрался в путь. Не много, не мало шел я, сказать по правде — ровно два года. Пришел это я в Воронеж вечером. А еще когда в тюрьме сидел, знал, что Наташенька с дочкой в город перебрались... Как же. Переночевал на постоялом, а утром в собор, стою в задку, трусь возле нищих, думаю: они в городе лучше всех знают каждого. И верно: узнал от них, что мой брат, Павел Иваныч, овдовел и состоит ныне профессором семинарии духовной и метит, мол, в архиереи.

— О-о-о... — протянул Ванька. — В архиереи? Ловко.

— Да. А об моей Наташе ни слуху ни духу: ровно бы, говорят, такой и в городе нет. Потом про брата опять подумал: слава, мол, господу, ежели к такому чину готовится, это хорошо: чин ангельский, и человек должен быть души тихой.

Вернулся я на постоянный вечером. Погрыз калачика, чайку испил, помолился про себя богу, лег. Вдруг среди ночи сон: будто я в часовне один-одинешенек, стою на коленях и земные поклоны бью. А перед иконой богородицы единая свечечка маленькая. Горит, а свету нет. Потом разом как вспыхнет сияние. Я сразу ослеплен был, упал плашмя, головой в пол, и слышу твердый голос: «Иди, раб, будет указано!» Тут я, братцы, вскочил, гляжу — утро. Трясусь весь, зубами щелкаю, одеваться проворненько начал, да в штаны-то никак не могу утрафить...

— Гы-ы, — протянул, осклабясь, Ванька, но Лехман молча пнул его в бок и мотнул головой Антону:

— Ну-ка...

— Вот хорошо. Поплескался водичкой, смелость такую в себе почувствовал, что, кажется, все нипочем. Пришел в семинарию. «Павел Иваныч дома?» — «Насчет доставки дров, что ли? Иди наверх, третья дверь справа». Иду, улыбаюсь, душа прыгает во мне, что-то будет? Хочу крикнуть ей: «Образумься, вернись!» Она отвечает: «Иди, будет указано». Чуть приоткрыл дверь, взглянул: однако — он, в мундире, чай пьет. Не пойду, думаю, а душа кричит: «Иди!» — да как толкнет меня в комнату. Ей-богу...

— Дела-а-а... — протянул дед и погладил

кольчатые пряди бороды.

— «Братец», — сказал я. Он повернулся, точно его обожгло, поднялся: «Антон!» — глаза круглыми сделались, руками машет, шипит: «Да как ты мог, да как ты осмелился?» Я в ноги, ползу к нему да вою: «Братец мой, брат...» А он стоит как столб: «Ты подумал ли? Что тебе надо? Ты бежал?» — «Мне бы жену мою, Наташеньку, увидеть да Любочку...» — «Наташа умерла». — «Как?!» Он помялся этак, подумал: «Она живет тут с одним... с помещиком... На содержании». Я уж на ногах стоял, встал с полу-то. Захватило у меня дух, в голове круженье сделалось. Оправился, однако, держусь за стену. «А Любочка, хоть бы на Любочку взглянуть...» Стою, жду ответа, всплеснул руками, а лицо, чую, дрожит, подбородок скачет, слезы по щекам текут, и все в глазах прыгает. А брат, как мышь в ловушке, бегаёт по комнате. Потом остановился, взглянул на меня исподлобья. «Ладно, говорит, жди». Схватил фуражку с кокардой, ключ достал. «Я, говорит, тебя запру, чтобы прислуга...» Сел я на стул, сижу, думаю: «Эх, Наташа, Наташа...»

Антон умолк и закрыл лицо руками.

Лехман похлопал его по согнутой спине.

— А ты плюнь... Эка штука... Возьми сердце-то в зубы...

— Ах, милый, ведь больно... Веришь ли,

тяжело ведь...

— Ну-ка, сказывай, как дочку-то встретил.

— Эхе-хе-е-е... Встретил!.. Я ее так встретил, что помирать буду — и то час тот вспомню... Лихой тот час был, ребятушки. Правильно в писании сказано: «Враги человеку домашние его...» Так оно и вышло.

— Не признала, что ль, за отца тебя?

— Не в этом дело-то, сударик... Слушай, уж доскажу... Вот жду я, жду, сам думаю: о чем говорить начнем с дочкой? А в мыслях я держал повидаться с Любочкой да жену разыскать, ну, там пожить тайно, без огласки чтоб, с недельку, да и назад. Но, миленькие, тут-то сидя на стуле, понял я и уразумел всей душой, что обратного пути мне нет, что назад уйти в Сибирь от дочери, от родины сил не хватит. Думай не думай — этому не быть. И вдруг злоба закипела. «Ах ты, окаянная душа, — сам себе шепчу. — Куда ты привела меня, зачем? Ведь на погибель ты, душа, привела меня...» Все тут всплыло сразу наверх, все, все, ребятушки. Вся жизнь, вся сладость прошлых дней моих счастливых, и друзья, и знакомые, и ласки жены... Всю душу во мне перевернуло. А что ж дальше? — думаю... — Назад? Будь ты проклята, душа моя!

— А души-то и не бывает, — не утерпел Ванька.

— Тьфу, леший! — плюнул дед.

Антон встряхнул локтями и приподнятым голосом быстро-быстро заговорил:

— И такие во мне закружились мысли, что страх. Ничего не разберу, прямо вот ухватиться за них не могу, мелькают как пчелы или снег валит. Как начали жалить: «Давись, пока нет!.. Убей брата, а деньги в карман... В монахи, в схимники... Жену убей... Нет, любовника убей, дочь возьми...» Потом все умолкло, как метлой смело, и, чую, один только голос во мне выявляется: «Будет указано». Вдруг: дзинь-дзинь! Дверь отворилась: впереди братец, а сзади два жандарма и пристав. Я вскочил, а милый братец протянул руку и сказал: «Вот!»

— А-а-ах, сволочь! — прошипел вдруг дед, судорожно сжимая пальцы.

Ванька плюнул в кулак и потряс им в воздухе:

— Так твою так!.. Вот это брат... Я б его, на твоём месте, по зубам да об голову... Я б его!..

Лехман встал, крикнул, сдвинул на затылок сшитую из тряпок шапку, взял топор и начал сильными взмахами рубить возле угасавшего костра пень. Пень не поддавался, и дед, вдруг обозлившись, ругал топор, ругал Ваньку, ругал эту чертову коряжину-пень, — ни дна б ему, ни покрышки, окаянному, — швырнул топор в тьму и куда-то быстро скрылся.

Антон молча вздыхал. Ванька Свистопляс на все лады сквернословил...

Два голоса вдали послышались: сердитый — Лехмана и виноватый — Тюли. Лехман кричал грубо и надсадиво. Тюля робко возражал.

— Чтоб тебя, дикошарого... Мало тебе еще, че-орт...

— А как, не скоро придем в Кедровку-та?

— Не скоро-о?.. Твое дело пакостить...

Подошли.

— Ну, сухарей возьми, ну, крупы отсыпь... А порох-то зачем, сбрую-то зачем?.. Че-орт...

Тюля свалил у костра мешок награбленного в зимовье добра и стоял с улыбающимся, испуганно-виноватым лицом.

— Я в ответе буду.

— Ты, тварь? Ты! — рявкнул Лехман. — Наш путик только загаживаешь... Ведь поймают — всем нам башки оторвут.

Тюля поправил костер, взял мешок, приподнял, будто примеряясь, грузно ли, и, отбросив с сердцем в сторону, сел.

— А у нас в Расее... — начал было он, но Лехман, тяжело пыхтя, перебил его:

— Давайте, братья, спать: ишь ночь.

Темно было кругом и тихо. А холод наплывал все настойчивее. Спины у бродяг стали мерзнуть.

— А у нас в Расее... Дык... Эдак-то... — попробовал вновь завести разговор Тюля, щуря на Лехмана свои узкие поросячьи глаза.

— Брехун, — сказал дед и стал укладываться, подостлав на землю хвои.

Лехман приподнялся, вздохнул, потер старую спину, задумался. Свою Лехман думу думает, таежную.

Тихо в тайге, замерла тайга. Обвели ее шиликуны чертой волшебной, околдовали неумытики зеленым сном. Спи, тайга, спи... Медведь-батюшка, спи. Сумрак пахучий, хвойный, карауль тайгу: встань до небес, разлейся шире, укрой все пути-дороги, притуши огни.

Не шелохнет тайга. Ветер еще с вечера запутался в хвоях, дремлет. Вот хозяин поднимается, — белые туманы, выплывайте, — вот хозяин скоро встанет из мшистого болота. Филин, птица ночная, ухай, канюка, канючь, — хозяин фонарик отыскивает... Звери лесные, все твари летучие, жалючие, ползучие, залезайте в норы: хозяин идет, хозяин строгий... Расстилайтесь, белые туманы, расстилайтесь... Человек, не размыкай глаз: хозяин страшный, увидишь — умом тронешься, крепче спи... Тише, тише: хозяин потягивается, хозяин с золотого месяца когтем уголек отколупывает... Ох, тише: хозяин дубинку взял...

«Го-го-го-го-го-оо-о-о-о...»

— Кто это? Ты, дед?! — как гусь, вытянул шею Ванька.

Бродяги спали крепким сном.

IV

Только теперь почувствовала Анна, что Андрей и она — одно.

Когда наладилось у них с Андреем — веселая была, без песни не работала, а теперь словно подменили: тихая, молчаливая. А то — задумается, стоит столбом, у печки, не живая. Окликнут — вздрогнет. Бородулин сердиться стал.

— Я на тебя, Анка, штраф буду накладывать... Однако я тебя, девка, к себе в спальню утащу...

Но Анна строгим, укорчивым взглядом гасила купеческую кровь.

Давненько на нее Бородулин зарился: так, поиграть хотел. Надо бы Дашке отставку дать еще с осени. Анну приручить тогда — раз плюнуть, полагал купец, а теперича... Большого купец дал маху: у Андрея действительно рожа замечательная, благородный... без штанов, а в шляпе...

— Ты чего, быдто щелоком охлебалась? — как-то спросил Иван Степаныч Анну.

Промолчала Анна.

— Али все по Андрюхе тужишь?.. Смотри, девка, — погрозил шутливо пальцем и поглядел на Анну по-грешному.

Но когда глядел на Анну, вместе с грешной думой что-то новое шевельнулось в душе, словно зеленая травинка сквозь землю в чертополохе прорезалась.

«А что?.. — сам себя спрашивал купец. — Дело было бы...» — и улыбнулся.

И весь день улыбался.

Давно надо бы Андрею воротиться. И уж стало думаться Анне разное: не заблудился ли, медведю не попал ли? А вдруг в бега ударился! Не спится Анне по ночам, а ежели уснет — сон тягостный мучит, вскакивает Анна в страхе и долго сидит во тьме, трясется. Ведь вот стоял, наклонялся, гладил... Нету. Закричать бы, заплакать... горько-горько заплакать бы... Но не было слез.

Май за середку перевалил. Андрей не возвращался.

Товарищи-политики всполошились: все сроки прошли, пропал Андрей. Мужиков сбили, три дня всем селом в тайге шарили — нету.

— Убег, стерва, — сказал Бородулин мужикам. — Упорол... Наверняка упорол...

У Анны сердце кровью облилось. Все три дня не пила, не ела. Точно в дыму ходит, вся снутри горит. А как вернулись мужики ни с чем, обрядилась Анна во всю таежную мужичью «лопотину»: холщовые штаны надела, рубаху

посконную, бродни, взяла винтовку у хозяина да двух собак и пошла с кривым солдатом в тайгу.

— Эк тебя подмывают лукавые-то... — ворчал Иван Степаныч. — Эк ты присуха-то корежит...

Долго они по тайге путались, верст на сто обогнули, весь порох расстреляли, — нет, не откликается. Так и вернулись домой, ободрались оба, солдат щетиной оброс, у Анны щеки провалились. Бородулин только головой покачал.

— Ну, как же... ты скажи... Ради бога, скажи... Куда схоронил? Где? — как-то пристала к Ивану Степанычу Анна.

— Кто? Я? Да ты ошалела, девка?

— Побойся бога... Отдай... Ну, отдай...

Иван Степаныч и на счетах брякать перестал. Долго, пристально смотрел на Анну. Стоит перед ним тихая, уже не кричит, не просит, глаза опустила, а губы дрожат, кривятся, не может совладать.

Бородулин поднялся и заботливо повел Анну вниз, в ее комнатку.

— Найдется.

Твердо сказал купец. Анна поверила и улыбнулась, а как стал гладить ее голову, поймала руку, заплакала — и вдруг ей сделалось легко.

И только засыпать начала, Бородулин так же твердо, как по сердцу молотом:

— Он давно дома у себя...

Анна поднялась — темно. Кто загасил? Где солнце? Где Андреюшкино солнце?

— Иван Степаныч! Даша! — кричит Анна.

Никто не отозвался. Только в углу, где рукомойник, капелька по капельке булькала в лохань вода.

— Иван Степаныч, Иван Степаныч!.. — идет босиком, простоволосая, половицы поскрипывают, двери сами собой отворяются.

Надо бегом, радостно стало, надо по задворкам, как тогда, как раньше...

— Ну, куда ж ты, стой! — Даша схватила ее сзади.

— К нему... к Андрею.

— Да ты что? Очухайся...

— Иван Степаныч сказал...

— Пойдем, пойдем... Когда это? Он вечер еще уплыл. Чего ты мелешь. Да и-и-ди-ка, телка!

Полная луна стояла в небе. Анна поглядела на луну, на голубую церковь, на Дашины черные глаза.

Стало быть, сон...

— А Анна-то тово... — сказала поутру Даша и постукала пальцем по лбу.

Старухи приплелись, застрекотали. То с уголька советуют спрыснуть — может, ответет, то в подворотню пролезть голой да на месяц по-собачьи

взлять. Хорошо бы за упокой подать, батюшка добрый, ему только бутылку посули, отслужит панихиду, это помогает: душа у Андрея скучать начнет, ангел божий на дорогу выведет — иди.

Анна старух разглядывает, виски сжала ладонями, голова болит. А старухи пуще; голоса крикливые, друг с дружкой сцепились, орут, слюнями брызжутся.

— Колдовка! — кричит горбатая. — Твое дело по ночам коровам вымя выгрызать...

— От колдовки слышу! Тьфу! — вскочила хромая, топнула кривой ногой и вся в дугу изогнулась. — Ты вот свиньицей оборачиваешься, оборотка чертова...

— Ну, ты... потрясучая!..

Анна стонет, голова гудит. Хоть бы Иван Степаныч пришел да выгнал. А старухи пуще.

Анна тихонько ноги спустила да рукой к ружью, — и страшным голосом на старух:

— Уходите...

Старухи, как овцы, стадом в дверь.

А по селу прокатилось: кедровская девка спятила.

Приехал из волости урядник, собрал сход.

— Искали, ребята?

— То-ись, скажи на милость, всю тайгу выползали.

— А покличьте-ка ее, эту фефелу-то вашу...

как ее?..

Стали Анну звать — не идет, староста пришел — не идет, приказано силой взять.

— Ну, иди... Чего ты, право?

— Пошто я ему? Изгаляться, что ли? — сверкнула она взглядом, однако пошла.

Урядник на завалинке сидит: ногу отставил, руку в карман, глаза навывкате, усы строгие, сам «с мухой».

— Ого, кобылица какая... Ядре-е-ная... — облизнулся он на Анну. — А ну-ка, говори, сударыня... Ты трепалась с Андреем, с политическим? А?

Анна гневно сдвинула брови и тяжело задышала, косясь через плечо на урядника.

— Ты оглохла? — пьяно кричал он. — Я те уши-то прочищу... потаскуха мокрохвостая!..

Как под бичом вздрогнула Анна.

— Бесстыжий... Тьфу! — злобно плюнула ему в лицо.

— А-а-а... Так?! — блеснув на солнце перстнем, он со всей силы ударил ее в висок.

— Ой, ты... — обхватила Анна голову. — Зверь!..

Урядник, весь налившись кровью, вновь взмахнул кулаком, но мужики сгребли его и враз угрозили:

— Ваше благородие! Ты не смей!..

— Ты этого не моги!.. Девка чужая, девка одна...

— Что-о-о?.. — да как даст ногой Анне в живот. — В чижовку! Живо-о!

Анна перегнулась вся:

— Ребеночка убил... батюшки, убил! — И, дико крича, пустилась по деревне.

А от реки, развевая черной бородой, бежал на шум только что выкупавшийся Бородулин. Ему было видно, как в толпе, взлетая и падая, кого-то молотили кулаки: сверкнула шашка, взягнули в чищенных сапогах ноги — и толпа вдруг бросилась врассыпную.

— Бу-у-унт... Бу-у-унт... — ползая по земле, хрипел урядник.

— Петр Петрович! Ваше благородие... Да ты что?

— Запорю... В каторгу, сволочи...

Ивану Степанычу больших трудов стоило увести урядника домой. Привел, подал сам умыться, — вода в лохани заалела кровью, — сам перевязал ему подбитый глаз.

— На-ка вот, — отрезал ему лучшего сукна на шинель, — порвали, подлецы! — да еще добавил двадцать пять рублей. — Ты лучше забудь... Мало ли чего... Ты с нашим народом не шути... Гольное зверье... Дрянь...

— Только бы начальство не дозналось... А с

мужичками сочтемся... И девку тоже...

— Девка чего же... Девка ничего... Жаль все-таки... На-ка, дербулызни коньячку... На-ка рябиновочки...

Когда пьяного урядника положили поперек повозки, Иван Степаныч шепнул ямщику:

— Чебурахни его, анафему, куда ни то в лужу... где погуще... Понял?..

— У-устряпаю, — подмигнул веселый парень и, вскочив на облучок, вытянул вдоль спины и коренника, и лежавшего пластом урядника.

Иван Степаныч зычно захохотал вслед взвившейся тройке и кликнул новую свою стряпку, моложавую вдовуху Фенюшку:

— Ну, как Анка-то?

— Да чего... лежит...

— Истопи-ка пожарче баенку да распарь-ка ее хорошенько, разотри. Чуешь?.. Редьки накопай — да редькой. Ну, живо!

Он лег спать рано, — выпито порядочно, — ухмылялся в бороду и приговаривал:

— Засужу... Хе-хе... вот те засужу...

Лежа думал: засудил бы, что тогда?.. Полсела угнали бы в тюрьму, сколько долгов пропало бы.

Поглядел на образ, на мягкий огонек лампадки и громко сказал:

— Слава тебе, Микола милостивый, слава тебе...

От избытка сил Ивану Степанычу легко и весело, мысли приятные роились, и во всем теле гулял легкий полугар. Чей-то голос знакомый слышался, Анкин не Анкин, глаза голубые прикинулись, кажется Анкины... да... ее глаза, Анкины.

Поднял купец веки, крякнул:

— Сходить нешто... проведать... — Но вот улыбка ушла с лица. — Ужо исправнику собольков парочку подсортовать... Он его... Бродя-ага... Дратся!

V

Завтра в Кедровке праздник. Каждый год в этот день из часовенки, или, как ее называли, полуцеркви, что стояла среди кедровой рощи, поднимают кресты и всей деревней идут в поле, за поскотину, к трем заповедным, сухим теперь лиственницам — служить молебен.

После молебна начиналась попойка, а к вечеру угаром ходил по деревне разгул с пьяной песней, орлянкой, хороводами. К вечеру же заводились драки — кулаками и чем попало; доходило дело до ножовщины.

Пьянство продолжалось на другой и на третий день. За этот праздник вина выпивали много. В хороший год с радости: «Белка валом валит к нам в

тайгу», в плохой год с горя: «Пропивай все к лешевой матери, все одно пропадать».

Вино всех равняло — и богатых и бедных. У всех носы разбиты и одурманены головы, все орут песни, всем весело. Будущее, как бы оно плохо ни было, уходит куда-то далеко, в тайгу; мысли становятся короткими: граница им — блестящий стаканчик с огненной жижицей, пьяные бороды, горластые бабьи рты. Все застилает серый радостный туман, и сквозь него смеется тайга, смеется поле, смеются белки: «Бери живьем, эй, бери, богатей, мужик!» И мужик брал: тянулся к штофу, бросался вприсядку, махал свирепо кулаками, вопил в овечьем стойле, торкнувшись головой в навоз: «Й-эх, да как уж шла-прошла наша гуля-а-а-нка!..»

Проходили эти три хмельные дня — и все снова начиналось по-старому, вновь наступала серая, унылая жизнь.

Кривая баба Овдоха еще третьего дня уехала за попом в Назимово. Вместо колесной дороги туда проложена тайгой верховая тропа с крутыми подъемами и спусками, с большими топкими «калтусами», перегороженная зачастую в три обхвата валежником. Овдоха сама поехала на пегашке, а под попа взяла стоялого Федотова жеребца, — поп грузный, не всякая лошадь увезет.

Уж закатилось солнце, попа все нет. Народ в

бани повалил. Бани — маленькие, с крохотным глазком избушечки, все, как одна, прокоптелые, словно нарочно вычерненные сажей — стояли над самым обрывом к речке. Две девахи, Настя с Варькой, выскочив окачиваться на улицу, первые увидели подъезжавшего попа и, стыдливо прикрываясь шайками, закричали проходившему с веником под мышкой человеку:

— Дяденька Митрий, батя едет, поп...

— Где?

— А вишь, — показала Настя шайкой и, вдруг спохватившись, она суетливо прикрылась. — Что ты на меня-то пялишься!..

— У-ух!.. Па-атретики! — осклабясь, ударил себя по ляжкам Митрий и уронил веник, а девушки с хохотом юркнули в баню.

Поп проехал к толстобрюхому Федоту, главному по деревне богатею. Криво что-то поп в седле сидит.

— Ты, батя, не пей до праздника-то, обожди мало-мало... — говорили ему, здороваясь и глотая слюни, красные после бани мужики.

Много их набралось к Федоту, накурили, наплевали, а батя сидел уж выпивши, ел со сметаной соленые грибы и, рюмка за рюмкой, пил водку.

— А позовите-ка сюда Прова Михайловича, чегой-то с дочкой его стряслось?

— Чего такое, батя?

Но староста Пров уж услышал про Анну от Овдохи.

Праздник завтра, гулянка, а у Прова в глазах черно.

— Езжай скорее, Пров, за дочкой... — охает жена. — Батюшка ты мой, царь небесный...

Пров долго сопел носом, потом, выйдя расхлябанной чужой походкой в сенцы, захлопнул за собой дверь и громко там засморкался. А поздним вечером, надев овчинный пиджак, ехал по тайге на бурой кривой своей лошаденке.

У всех печи топятся, бабы снуют взад да вперед, взад да вперед, тесто заводят, кур колют. Где-то барашек заблеял-заплакал: прощай, жизнь!.. Поросенок сумасшедшим голосом ревет. Ревел-ревел, сразу замолк, словно обрадовался, что кончилось страшное. Два петуха безголовых пролетели поперек дороги, две старухи-ведьмы гнались за ними с окровавленными двумя топориками, бежали, тяжело сопя и задыхаясь, и сквозь стиснутые гнилые зубы зло посмеивались:

— А, не любишь? Это тебе, петька, не кур топтать...

Два кота сидели на воротах, уткнув друг в друга лбы, повиливали лениво хвостами и лукаво выводили, словно ребята в люльке гулькали.

Месяц, огромный, будто намасленный

блиннице, одним глазом выглядывал из-за тайги: а ну-ка поглядим, как бабы стряпают.

Дымок вился из труб, вкусно пахло жареным, псы ловили на лету подачку или, болезненно взвизгнув, кубарем летели от пинка.

Девка песню завела, бежит с ведром к речке да поет.

— Ты сдурела? — стыдит встречный дед.

Хохочет:

— А чего? Думаешь, грех?

— Нет, спасенье...

Старики у часовни сидят, хоть не холодно, а в валенках: удобней. Трубки сосут, согнулись вдвое, врут друг другу штуки, разные случаи рассказывают: «А эвона, в тайге-то, иду я, этта, иду...» — «Чего в тайге, со мной, ребята, у мельницы случилась оказия». Врут да врут. Завтра праздник, можно и поврать. Завтра вино будет, знай гуляй! Дымокуры возле них курятся. Митька, парнишка-сопляк, то гнилушек, то назьму охачку, то травы подбросит: зелеными клубами дым пластает и гонит комаров.

— Попа-то караулят ли?

— Укараулишь его, черта!

А батюшка, человек ядреный, в годках, лицо крупное, с запойным отеком, желтое, на приплюснутом носу румянец. Он действительно слова не сдержал: «Обрей мне полбашки, как

каторжнику, ежели до праздника упыюсь», — а сам еле сидит за столом, бахвалится:

— Мужичье!.. — но мужиков в избе не было, одна бабка Агафья, теща лавочника Федота. — Вы чего понимаете, а?.. Вы как обо мне, чалдоны¹, понимаете? Как ваша мление будет, а?!

— А так, что ты долгогривый, и больше ничего... Забулдыга... — брюзжит рассерженная бабка.

— Н-да-а... Нд-а-а... — теребит поп красную с проседью бороду, икает и примиряюще говорит: — А ты лучше, девка, дай-ка еще груздочков-то...

Поп щурит глаза, всматривается в согбенную фигуру бабки и, прищелкнув игриво пальцами, говорит:

— Слушай-ка, молодуха...

Стоит старуха у печи со сковородником, печет к празднику блины.

— Я, девка, жениться думаю. А?.. Что мне, ведь я холостой.

— Пес ты, а не поп...

Священник озирается, — нет ли постороннего, — зевает широкой пастью, крестит левою рукою рот, рявкает и, подмигнув, шипит:

¹ Чалдон — коренной сибиряк-крестьянин. (Все подстрочные примечания принадлежат автору.)

— Слышь-ка, эй, молодуха... Ты куда меня положишь?.. А?..

Хихикает и шепчет:

— Ты приведи-ка мне бабенку, а?

Федот пришел. Старуха ожила.

— Гляди, чего говорит! — закричала зятю. —

Грива этакая.

— А чего говорю?! — ворчит поп. — Дай-ка водки!

— Нету, батя... Завтра... Слушай-ка, чего сейчас сказывал караульщик... Грит, чудится...

— Давай вина.

— Нету, батя, все.

Поп вскочил и, держась за стол, двинулся к Федоту.

— Я тебе покажу — нету! Давай!..

А у завалинки поселенец старичишка Беспамятный стоит пред мужиками, отказывается идти караулить ворота в назимовской поскотине.

— Вот тебе Христос, вот... Сижу это я, робяты, в шалаше, чую — ко сну клонит, борюсь-борюсь — нет, а время ка-быть раннее. Сбороло, братцы, меня: как сидел на дерюге, так и заснул. Вдруг слышу — бубенцы, бубенцы, лошади топчут, ямщик гикает. Вот тебе Христос, вот... Ну, думаю, по дороге кто-нибудь с приисков катит. Не иначе. «Отворяй, старый черт!» — ревут. Я вскочил без ума, подбежал к воротам. Никого. Тут у